

Макаренко А.С.

**ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ  
ПОЭМА**

Москва  
Издательство АСТ

УДК 821.161.1  
ББК 84(2Рос=Рус)6  
М15

Дизайн переплёта *Алексея Родюшкина*

**Макаренко, Антон Семенович.**

**М15** Педагогическая поэма / Антон Семенович Макаренко. — Москва: Издательство АСТ, 2026. — 608 с. — (Советский нон-фикшн)

ISBN 978-5-17-178885-8

Антон Семёнович Макаренко — педагог-практик и писатель, чьё имя стало символом эффективного воспитания. Его система, основанная на принципах коллективного труда, уважения и ответственности, доказала свою действенность в работе с самыми сложными подростками.

«Педагогическая поэма» — это главный труд Антона Семёновича, повествующий о создании и становлении колонии для несовершеннолетних правонарушителей. Это вдохновляющая история о том, как вера в человека, труд и дисциплина могут преобразить одинокие души. Произведение раскрывает всю глубину и сложность педагогического подхода автора, его сомнения, борьбу с бюрократией и триумф человеческого духа. Это не просто книга о воспитании, это гимн разуму, воле и доброте.

Книга будет полезна родителям, ищущим ответы на сложные вопросы воспитания, педагогам и психологам, желающим понять механизмы формирования коллектива и личности, студентам гуманитарных вузов, а также всем, кто интересуется историей, психологией и просто верит в силу человеческой личности.

УДК 821.161.1  
ББК 84(2Рос=Рус)6

ISBN 978-5-17-178885-8

© ООО «Издательство АСТ», 2026

*С преданностью и любовью нашему шефу, другу и учителю  
Максиму Горькому*

# ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

## 1. Разговор с завгубнаробразом

В сентябре 1920 года заведующий губнаробразом вызвал меня к себе и сказал:

— Вот что, брат, я слышал, ты там ругаешься сильно... вот что твоей трудовой школе дали это самое... губсовнархоз...

— Да как же не ругаться? Тут не только заругаешься — взвось: какая там трудовая школа? Накурено, грязно! Разве это похоже на школу?

— Да... Для тебя бы это самое: построить новое здание, новые парты поставить, ты бы тогда занимался. Не в зданиях, брат, дело, важно нового человека воспитать, а вы, педагоги, саботируете все: здание не такое и столы не такие. Нету у вас этого самого вот... огня, знаешь, такого — революционного. Штаны у вас навывпуск!

— У меня как раз не навывпуск.

— Ну у тебя не навывпуск... Интеллигенты паршивые!.. Вот ищущу, ищущу, тут такое дело большое: босяков этих самых развелось, мальчишек — по улице пройти нельзя, и по квартирам лезут. Мне говорят: это ваше дело, наробразовское... Ну?

— А что — «ну»?

— Да вот это самое: никто не хочет, кому ни говорю — руками и ногами, зарежут, говорят. Вам бы это, кабинетик, книжечки... Очки вон надел...

Я рассмеялся:

— Смотрите, уже и очки помешали!

— Я ж и говорю, вам бы все читать, а если вам живого человека дадут, так вы, это самое, зарежет меня живой человек. Интеллигенты!

Завгубнаробразом сердито покалывал меня маленькими черными глазами и из-под ницшевских усов изрыгал хулу на всю нашу педагогическую братию. Но ведь он был неправ, этот завгубнаробразом.

— Вот послушайте меня...

— Ну что «послушайте»? Ну что ты можешь такого сказать? Скажешь: вот если бы это самое... как в Америке! Я недавно по этому случаю книжонку прочитал — подсунули. Реформа-

торы... или как там, стой! Ага! Реформаториумы<sup>1</sup>. Ну так этого у нас еще нет.

— Нет, вы послушайте меня.

— Ну, слушаю.

— Ведь и до революции с этими босяками справлялись.

Были колонии малолетних преступников...

— Это не то, знаешь... До революции это не то.

— Правильно. Значит, нужно нового человека по-новому делать.

— По-новому, это ты верно.

— А никто не знает — как.

— И ты не знаешь?

— И я не знаю.

— А вот у меня, это самое... есть такие в губнаробразе, которые знают...

— А за дело братья не хотят.

— Не хотят, сволочи, это ты верно.

— А если я возьмусь, так они меня со света сживут. Что бы я ни сделал, они скажут: не так.

— Скажут, стервы, это ты верно.

— А вы им поверите, а не мне.

— Не поверю, скажу: было б самим братья!

— Ну а если я и в самом деле напутаю?

Завгубнаробразом стукнул кулаком по столу:

— Да что ты мне: напутаю, напутаю! Ну и напутаешь! Чего ты от меня хочешь? Что я, не понимаю, что ли? Пугай, а нужно дело делать. Там будет видно. Самое главное, это самое... не какая-нибудь там колония малолетних преступников, а, понимаешь, социальное воспитание... Нам нужен такой человек, вот... наш человек! Ты его сделай. Все равно всем учиться нужно. И ты будешь учиться. Это хорошо, что ты в глаза сказал: не знаю. Ну и хорошо.

— А место есть? Здания все-таки нужны.

— Есть, брат. Шикарное место. Как раз там и была колония малолетних преступников. Недалеко — верст шесть. Хорошо там: лес, поле, коров разведешь...

— А люди?

---

<sup>1</sup> *Реформаториумы* — учреждения для перевоспитания несовершеннолетних правонарушителей в некоторых капстранах; детские тюрьмы.

— А людей я тебе сейчас из кармана выну. Может, тебе еще и автомобиль дать?

— Деньги?..

— Деньги есть. Вот получи.

Он из ящика стола достал пачку.

— Сто пятьдесят миллионов. Это тебе на всякую организацию, ремонт там, мебелишка какая нужна...

— И на коров?

— С коровами подождешь, там стекло нет. А на год смету составишь.

— Неловко так, посмотреть бы не мешало раньше.

— Я уже смотрел... что ж, ты лучше меня увидишь? Поезжай — и все.

— Ну добре, — сказал я с облегчением, потому что в тот момент ничего страшнее комнат губсовнархоза для меня не было.

— Вот это молодец! — сказал завгубнаробразом. — Действуй! Дело святое!

## 2. Бесславное начало колонии имени Горького

В шести километрах от Полтавы, на песчаных холмах — гектаров двести соснового леса, а по краю леса — большак на Харьков, скучно поблескивающий чистеньким бульжником.

В лесу поляна, гектаров в сорок. В одном из ее углов поставлено пять геометрически правильных кирпичных коробок, составляющих все вместе правильный четырехугольник. Это и есть новая колония для правонарушителей.

Песчаная площадка двора спускается в широкую лесную прогалину, к камышам небольшого озера, на другом берегу которого плетни и хаты кулацкого хутора. Далеко за хутором нарисован на небе ряд старых берез, еще две-три соломенные крыши. Вот и все.

До революции здесь была колония малолетних преступников. В 1917 году она разбежалась, оставив после себя очень мало педагогических следов. Судя по этим следам, сохранившимся в истрепанных журналах-дневниках, главными педагогами в колонии были дядьки, вероятно, отставные унтер-офицеры, на обязанности которых было следить за каждым шагом воспитанников как во время работы, так и во время отдыха, а ночью спать рядом

с ними, в соседней комнате. По рассказам соседей-крестьян можно было судить, что педагогика дядек не отличалась особой сложностью. Внешним ее выражением был такой простой снаряд, как палка.

Материальные следы старой колонии были еще незначительные. Ближайшие соседи колонии перевезли и перенесли в собственные хранилища, называемые каморами и клунями, все то, что могло быть выражено в материальных единицах: мастерские, кладовые, мебель. Между всяким добром был вывезен даже фруктовый сад. Впрочем, во всей этой истории не было ничего напоминающего вандалов. Сад был не вырублен, а выкопан и где-то вновь насажен, стекла в домах не разбиты, а аккуратно вынуты, двери не высажены гневным топором, а по-хозяйски сняты с петель, печи разобраны по кирпичику. Только буфетный шкаф в бывшей квартире директора остался на месте.

— Почему шкаф остался? — спросил я соседа, Луку Семеновича Верхолу, пришедшего с хутора поглядеть на новых хозяев.

— Так что, значит, можно сказать, что шкафчик этой нашим людям без надобности. Разобрать его — сами ж видите, что с него? А в хату, можно сказать, в хату он не войдет — и по высоте, и поперек себя тоже...

В сараях по углам было свалено много всякого лома, но дельных предметов не было. По свежим следам мне удалось вернуть кое-какие ценности, утащенные в самые последние дни. Это были: рядовая старенькая сеялка, восемь столярных верстаков, еле на ногах державшихся, конь — мерин, когда-то бывший киргизом, — в возрасте тридцати лет и медный колокол.

В колонии я уже застал завхоза Калину Ивановича. Он встретил меня вопросом:

— Вы будете заведующий педагогической частью?

Скоро я установил, что Калина

Иванович выражается с украинским прононсом, хотя принципиально украинского языка не признавал. В его словаре было много украинских слов, и «г» он произносил всегда на южный манер. Но в слове «педагогический» он почему-то так нажимал на литературное великорусское «г», что у него получалось, пожалуй, даже чересчур сильно.

— Вы будете заведующий педагогической частью?

— Почему? Я заведующий колонией...

— Нет, — сказал он, вынув изо рта трубку, — вы будете заведующий педагогической частью, а я — заведующий хозяйственной частью.

Представьте себе врубелевского «Пана», совершенно уже облысевшего, только с небольшими остатками волос над ушами. Сбрейте Пану бороду, а усы подстригите по-архиерейски. В зубы дайте ему трубку. Это будет уже не Пан, а Калина Иванович Сердюк. Он был чрезвычайно сложен для такого простого дела, как заведование хозяйством детской колонии. За ним было не менее пятидесяти лет различной деятельности. Но гордостью его были только две эпохи: был он в молодости гусаром лейб-гвардии Кексгольмского ее величества полка, а в восемнадцатом году заведовал эвакуацией города Миргорода во время наступления немцев.

Калина Иванович сделался первым объектом моей воспитательной деятельности. В особенности меня затрудняло обилие у него самых разнообразных убеждений. Он с одинаковым вкусом ругал буржуев, большевиков, русских, евреев, нашу неряшливость и немецкую аккуратность. Но его голубые глаза сверкали такой любовью к жизни, он был так восприимчив и подвижен, что я не пожалел для него небольшого количества педагогической энергии. И начал я его воспитание в первые же дни, с нашего первого разговора:

— Как же так, товарищ Сердюк, не может быть без заведующего колония? Кто-нибудь должен отвечать за все.

Калина Иванович снова вынул трубку и вежливо склонился к моему лицу:

— Так вы желаете быть заведующим колонией? И чтобы я вам, в некотором роде, подчинился?

— Нет, это не обязательно. Давайте я вам буду подчиняться.

— Я педагогике не обучался, что не мое, то не мое. Вы еще молодой человек и хотите, чтобы я, старик, был на побегушках? Так тоже нехорошо! А быть заведующим колонией — так, знаете, для этого ж я еще малограмотный, да и зачем это мне?..

Калина Иванович неблагоприятно отошел от меня. Надулся. Целый день он ходил грустный, а вечером пришел в мою комнату уже в полной печали.

— Я вам здесь поставив столик и кроватку, какие нашлись...

— Спасибо.

— Я думав-думав, как нам быть с этой самой колонией. И решив, что вам, конечно, лучше быть заведующим колонией, а я вам буду как бы подчиняться.

— Помиримся, Калина Иванович.

— Я так тоже думаю, что помиримся. Не святые горшки лепят, и мы дело наше сделаем. А вы, как человек грамотный, будете как бы заведующим.

Мы приступили к работе. При помощи «дрючков» тридцатилетняя коняка была поставлена на ноги. Калина Иванович взгромоздился на некоторое подобие брочки, любезно предоставленной нам соседом, и вся эта система двинулась в город со скоростью двух километров в час. Начался организационный период.

Для организационного периода была поставлена вполне уместная задача — концентрация материальных ценностей, необходимых для воспитания нового человека. В течение двух месяцев мы с Калиной Ивановичем проводили в городе целые дни. В город Калина Иванович ездил, а я ходил пешком. Он считал ниже своего достоинства пешеходный способ, а я никак не мог помириться с теми темпами, которые мог обеспечить бывший киргиз.

В течение двух месяцев нам удалось при помощи деревенских специалистов кое-как привести в порядок одну из казарм бывшей колонии: вставили стекла, поправили печи, навесили новые двери. В области внешней политики у нас было единственное, но зато значительное достижение: нам удалось выпросить в опродкомарме Первой запасной сто пятьдесят пудов ржаной муки. Иных материальных ценностей нам не повезло «сконцентрировать».

Сравнив все это с моими идеалами в области материальной культуры, я увидел: если бы у меня было во сто раз больше, то до идеала оставалось бы столько же, сколько и теперь. Вследствие этого я принужден был объявить организационный период законченным. Калина Иванович согласился с моей точкой зрения:

— Что ж ты соберешь, когда они, паразиты, зажигалки делают? Разорили, понимаешь ты, народ, а теперь как хочешь, так и организуйся. Приходится, как Илья Муромец...

— Илья Муромец?

— Ну да. Был такой — Илья Муромец... может, ты чув... так они его, паразиты, богатырем объявили. А я так считаю, что он был просто бедняк и лодырь, летом, понимаешь ты, на санях ездил.

— Ну что же, будем, как Илья Муромец, это еще не так плохо. А где же Соловей-разбойник?

— Соловьев-разбойников, брат, сколько хочешь...

Прибыли в колонию две воспитательницы: Екатерина Григорьевна и Лидия Петровна. В поисках педагогических работников я дошел было до полного отчаяния: никто не хотел посвятить себя воспитанию нового человека в нашем лесу — все боялись «босяков», и никто не верил, что наша затея окончится добром. И только на конференции работников сельской школы, на которой и мне пришлось витийствовать, нашлись два живых человека. Я был рад, что это женщины. Мне казалось, что «облагораживающее женское влияние» счастливо дополнит нашу систему сил.

Лидия Петровна была очень молода — девочка. Она недавно окончила гимназию и еще не остыла от материнской заботы. Завгубнаробразом меня спросил, подписывая назначение:

— Зачем тебе эта девчонка? Она же ничего не знает.

— Да именно такую и искал. Видите ли, мне иногда приходится в голову, что знания сейчас не так важны. Эта самая Лидочка — чистейшее существо, я рассчитываю на нее, вроде как на прививку.

— Не слишком ли хитришь? Ну хорошо...

Зато Екатерина Григорьевна была матерью педагогический волк. Она ненамного раньше Лидочки родилась, но Лидочка прислонялась к ее плечу, как ребенок к матери. У Екатерины Григорьевны на серьезном красивом лице прямилась почти мужские черные брови. Она умела носить с подчеркнутой опрятностью каким-то чудом сохранившиеся платья, и Калина Иванович правильно выразился, познакомившись с нею:

— С такой женщиной нужно очень осторожно поступать...

Итак, все было готово.

Четвертого декабря в колонию прибыли первые шесть воспитанников и предъявили мне какой-то сказочный пакет с пятью огромными сургучными печатями. В пакете были «дела». Четверо имели по восемнадцать лет, были присланы за вооруженный квартирный грабеж, а двое были помоложе и обвинялись в кражах. Воспитанники наши были прекрасно одеты: галифе, щегольские сапоги. Прически их были последней моды. Это вовсе не были беспризорные дети. Фамилии этих первых: Задоров, Бурун, Волохов, Бендюк, Гуд и Таранец.

Мы их встретили приветливо. У нас с утра готовился особенно вкусный обед, кухарка блистала белоснежной повязкой; в спальне, на свободном от кроватей пространстве, были накрыты парадные столы; скатертей мы не имели, но их с успехом заменили новые простыни. Здесь собрались все участники на-

рождающейся колонии. Пришел и Калина Иванович, по случаю торжества сменивший серый измазанный пиджачок на курточку зеленого бархата.

Я сказал речь о новой, трудовой жизни, о том, что нужно забыть о прошлом, что нужно идти все вперед и вперед. Воспитанники мою речь слушали плохо, перешептывались, с ехидными улыбками и презрением посматривали на расставленные в казарме складные койки — «дачки», покрытые далеко не новыми ватными одеялами, на некрашенные двери и окна. В середине моей речи Задоров вдруг громко сказал кому-то из товарищей:

— Через тебя влипли в эту бузу!

Остаток дня мы посвятили планированию дальнейшей жизни. Но воспитанники с вежливой небрежностью выслушивали мои предложения — только бы скорее от меня отделаться.

А наутро пришла ко мне взволнованная Лидия Петровна и сказала:

— Я не знаю, как с ними разговаривать... Говорю им: надо за водой ехать на озеро, а один там, такой — с прической, надевает сапоги и прямо мне в лицо сапогом: «Вы видите, сапожник пошил очень тесные сапоги!»

В первые дни они нас даже не оскорбляли, просто не замечали нас. К вечеру они свободно уходили из колонии и возвращались утром, сдержанно улыбаясь навстречу моему проникновенному соцвосовскому выговору. Через неделю Бендюк был арестован приехавшим агентом губрозыска за совершенное ночью убийство и ограбление. Лидочка насмерть была перепугана этим событием, плакала у себя в комнате и выходила только затем, чтобы у всех спрашивать:

— Да что же это такое? Как же это так? Пошел и убил?..

Екатерина Григорьевна, серьезно улыбаясь, хмурила брови:

— Не знаю, Антон Семенович, серьезно, не знаю... Может быть, нужно просто уехать... Я не знаю, какой тон здесь возможен...

Пустынный лес, окружавший нашу колонию, пустые коробки наших домов, десяток «дачек» вместо кроватей, топор и лопата в качестве инструмента и полдесятка воспитанников, категорически отрицавших не только нашу педагогику, но всю человеческую культуру, — все это, правду говоря, нисколько не соответствовало нашему прежнему школьному опыту.

Длинными зимними вечерами в колонии было жутко. Колония освещалась двумя пятилинейными лампочками: одна —

в спальне, другая — в моей комнате. У воспитательниц и у Калины Ивановича были «каганцы» — изобретение времен Кия, Щека и Хорива. В моей лампочке верхняя часть стекла была отбита, а оставшаяся часть всегда закопчена, потому что Калина Иванович, закуривая свою трубку, пользовался часто огнем моей лампы, просовывал для этого в стекло половину газеты.

В тот год рано начались снежные вьюги, и весь двор колонии был завален сугробами снега, а расчистить дорожки было некому. Я просил об этом воспитанников, но Задоров мне сказал:

— Дорожки расчистить можно, но только пусть зима кончится: а то мы расчистим, а снег опять нападет. Понимаете?

Он мило улыбнулся и отошел к товарищу, забыв о моем существовании.

Задоров был из интеллигентной семьи — это было видно сразу. Он правильно говорил, лицо его отличалось той молодой холелостью, какая бывает только у хорошо кормленных детей. Волохов был другого порядка человек: широкий рот, широкий нос, широко расставленные глаза — все это с особенной мясистой подвижностью — лицо бандита. Волохов всегда держал руки в карманах галифе, и теперь он подошел ко мне в такой позе:

— Ну сказали ж вам...

Я вышел из спальни, обратив своей гнев в какой-то тяжелый камень в груди. Но дорожки нужно было расчистить, а окаменевший гнев требовал движения. Я зашел к Калине Ивановичу:

— Пойдем снег чистить.

— Что ты! Что ж, я сюда черноробом наймался? А эти что? — кивнул он на спальни. — Соловьи-разбойники?

— Не хотят.

— Ах, паразиты! Ну, пойдем!

Мы с Калиной Ивановичем уже оканчивали первую дорожку, когда на нее вышли Волохов и Таранец, направляясь, как всегда, в город.

— Вот хорошо! — сказал весело Таранец.

— Давно бы так, — поддержал Волохов.

Калина Иванович загородил им дорогу:

— То есть как это — «хорошо»? Ты, сволочь, отказался работать, так думаешь, я для тебя буду? Ты здесь не будешь ходить, паразит! Полезай в снег, а то я тебя лопатой...

Калина Иванович замахнулся лопатой, но через мгновение его лопата полетела далеко в сугроб, трубка — в другую сторону,

и изумленный Калина Иванович мог только взглядом проводить юношей и издали слышать, как они ему крикнули:

— Придется самому за лопатой полазить!

Со смехом они ушли в город.

— Уеду отседова к черту! Чтоб я тут работал! — сказал Калина Иванович и ушел в свою квартиру, бросив лопату в сугробе.

Жизнь наша сделалась печальной и жуткой. На большой дороге на Харьков каждый вечер кричали:

— Рятуйте!..

Ограбленные селяне приходили к нам и трагическими головами просили помощи.

Я выпросил у завгубнаобразом наган для защиты от дорожных рыцарей, но положение в колонии скрывал от него. Я еще не терял надежды, что придумаю способ договориться с воспитанниками.

Первые месяцы нашей колонии для меня и моих товарищей были не только месяцами отчаяния и бессильного напряжения — они были еще и месяцами поисков истины. Я во всю жизнь не прочитал столько педагогической литературы, сколько зимой 1920 года.

Это было время Врангеля и польской войны. Врангель где-то близко, возле Новомиргорода; совсем недалеко от нас, в Черкассах, воевали поляки, по всей Украине бродили батьки, вокруг нас многие находились в блакитно-желтом очаровании. Но мы в нашем лесу, подперев голову руками, старались забыть о громах великих событий и читали педагогические книги.

У меня главным результатом этого чтения была крепкая и почему-то вдруг основательная уверенность, что в моих руках никакой науки нет и никакой теории нет, что теорию нужно извлечь из всей суммы реальных явлений, происходящих на моих глазах. Я сначала даже не понял, а просто увидел, что мне нужны не книжные формулы, которые я все равно не мог привязать к делу, а немедленный анализ и немедленное действие<sup>2</sup>.

Всем своим существом я чувствовал, что мне нужно спешить, что я не могу ожидать ни одного лишнего дня. Колония все больше и больше принимала характер «малины» — воровского при-

---

<sup>2</sup> В «Педагогической поэме» 1934 г., с. 23, дальше следует: «Нас властно обступил хаос мелочей, целое море элементарнейших требований здравого смысла, из которых каждое способно было вдребезги разбить всю нашу мудрую педагогическую науку».

тона, в отношениях воспитанников к воспитателям все больше определялся тон постоянного издевательства и хулиганства. При воспитательницах уже начали рассказывать похабные анекдоты, грубо требовали подачи обеда, швырялись тарелками в столовой, демонстративно играли финками и глумливо расспрашивали, сколько у кого есть добра:

— Всегда, знаете, может пригодиться... в трудную минуту.

Они решительно отказывались пойти нарубить дров для печей и в присутствии Калины Ивановича разломали деревянную крышу сарая. Сделали они это с дружелюбными шутками и смехом:

— На наш век хватит!

Калина Иванович рассыпал миллионы искр из своей трубки и разводил руками:

— Что ты им скажешь, паразитам? Видишь, какие аlegantские холявы! И откуда это они почерпнули, чтоб постройки ломать? За это родителей нужно в кутузку, паразитов...

И вот свершилось: я не удержался на педагогическом канате. В одно зимнее утро я предложил Задорову пойти нарубить дров для кухни. Услышал обычный задорно-веселый ответ:

— Иди сам наруби, много вас тут!

Это впервые ко мне обратились на «ты».

В состоянии гнева и обиды, доведенный до отчаяния и остервенения всеми предшествующими месяцами, я размахнулся и ударил Задорова по щеке. Ударил сильно, он не удержался на ногах и повалился на печку. Я ударил второй раз, схватил его за шиворот, приподнял и ударил третий раз.

Я вдруг увидел, что он страшно испугался. Бледный, с трясущимися руками, он поспешил надеть фуражку, потом снял ее и снова надел. Я, вероятно, еще бил бы его, но он тихо и со стоном прошептал:

— Простите, Антон Семенович...

Мой гнев был настолько дик и неумерен, что я чувствовал: скажи кто-нибудь слово против меня — я брошусь на всех, буду стремиться к убийству, к уничтожению этой своры бандитов. У меня в руках очутилась железная кочерга. Все пять воспитанников молча стояли у своих кроватей, Бурун что-то спешил поправить в костюме.

Я обернулся к ним и постучал кочергой по спинке кровати:

— Или всем немедленно отправляться в лес, на работу, или убираться из колонии к чертовой матери!

И вышел из спальни.

Пройдя к сараю, в котором находились наши инструменты, я взял топор и хмуρο посматривал, как воспитанники разбирали топоры и пилы. У меня мелькнула мысль, что лучше в этот день не рубить лес — не давать воспитанникам топоров в руки, но было уже поздно: они получили все, что им полагалось. Все равно. Я был готов на все, я решил, что даром свою жизнь не отдам. У меня в кармане был еще и револьвер.

Мы пошли в лес. Калина Иванович догнал меня и в страшном волнении зашептал:

— Что такое? Скажите на милость, чего это они такие добрые?

Я рассеянно глянул в голубые очи Пана и сказал:

— Скверное, брат, дело... Первый раз в жизни ударил человека.

— Ох ты ж лышенько! — ахнул Калина Иванович. — А если они жаловаться будут?

— Ну это еще не беда...

К моему удивлению, все прошло прекрасно. Я поработал с ребятами до обеда. Мы рубили в лесу кривые сосенки. Ребята в общем хмурились, но свежий морозный воздух, красивый лес, убранный огромными шапками снега, дружное участие пилы и топора сделали свое дело.

В перерыве мы смущенно закурили из моего запаса махорки, и, пуская дым к верхушке сосен, Задоров вдруг разразился смехом:

— А здорово! Ха-ха-ха-ха!..

Приятно было видеть его смеющуюся румяную рожу, и я не мог не ответить ему улыбкой:

— Что — здорово? Работа?

— Работа само собой. Нет, а вот как вы меня съездили!

Задоров был большой и сильный юноша, и смеяться ему, конечно, было уместно. Я и то удивлялся, как я решился тронуть такого богатыря.

Он залился смехом и, продолжая хохотать, взял топор и направился к дереву:

— История, ха-ха-ха!..

Обедали мы вместе, с аппетитом и шутками, но утренние события не вспоминали. Я себя чувствовал все же неловко, но уже решил не сдавать тона и уверенно распорядился после обеда. Во-